

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ПЕРЕВОДУ ИСТОРИИ XVIII СТОЛЕТИЯ ШЛОССЕРА¹

Шлоссер вовсе не похож на тех блистательных рассказчиков, знаменитейшим представителем которых теперь считается Маколей. Его изложение совершенно лишено драматизма и ярких картин; у него нет даже плавности, часто недостает даже внешней связности в рассказе, — иной раз он, не договорив одного, переходит к другому, а еще чаще случается, что одно и то же он повторяет четыре или пять раз. Мало того, что изложение у него не обработано, даже язык его неправилен, шероховат, небрежен, так дурен, что каждый дюжинный фельетонист пишет лучше его. Читая его, вы читаете будто бы не книгу, изданную для публики, а черновые тетради, не просмотренные автором.

И, однакоже, этот человек, говорящий таким небрежным языком, бессвязно, иногда вяло, этот человек занимает первое место между всеми современными нам историками. Он не увлекает вас живостью или прелестью рассказа, как Маколей или Мишле; вы сначала досаждаете на очевидные недостатки его повествования, досада сменяется у вас иногда улыбкой, — так странна кажется вам его нескладница. Но это только на первых порах знакомства с ним. Едва вы прочтете несколько десятков страниц в его книге, в вас начинает пробуждаться чувство, которого вы никак не ожидали, — чувство уважения к нему. Чем ближе вы знакомитесь с ним, тем более растет это чувство, и скоро в дурном рассказчике, говорящем вяло и небрежно, вы видите мудреца, у которого, кто бы вы ни были, как бы ни горды были вы своей житейской опытностью и своим умом, вы учитесь понимать события и людей. Мало-помалу он овладевает вашими понятиями так, что вы как будто видите его, с брюзгливой гримасой говорящим о тех изящных историках, которыми вы прежде увлекались: *was für elende Menschen, die alle diese Lappalien erzählen und bewundern!* — «что за жалкие люди эти господа, с восторгом рассказывающие такой пошлый вздор!», и вы соглашаетесь с ним.

Да, этот плохой рассказчик в самом деле мудрец, если можно кого-нибудь назвать мудрецом. Ничем не подкупится, ничем не обольстится он: ни блеск, ни гений, ни софизмы панегиристов, ни даже собственные желания, ничто не отуманит его зоркого взгляда, не смячит его строгого приговора. Он знает людей, как их знали Монтэнь и Маккиавелли. Но с тем вместе он верит в правду, он любит человека. Потому речь его, суровая и печальная, разрушая ваши иллюзии, укрепляет ваши убеждения во всем истинно добром и высоком. Сроднившись с ним, вы, может быть, перестанете видеть в истории тот непрерывный, ровный прогресс в каждой смене событий и исторических состояний, который чудился вам прежде; быть может, вы потеряете веру почти во всех тех людей, которыми ослеплялись прежде; но зато уже никакое разочарование опыта не сокрушит того убеждения в неизбежности развития, которое сохранится в вас после его строгого анализа; и если вы перестанете представлять героями добра и правды почти всех тех, кто прежде являлся вам в ореоле, сотканном из риторских фраз или идеальных увлечений, зато укрепится ваше доверие к будущим судьбам человека, потому что вместо героев истинно полезными двигателями истории вы признаете людей простых и честных, темных и скромных, каких, слава богу, всегда и везде будет довольно.

Чрезвычайно здравый взгляд на человеческую жизнь — вот чем велик Шлоссер. Многие хвалятся тем, что не принадлежат ни к какой партии; почти всегда это бывает самообольщением и, вслушавшись в слова человека, гордящегося своим беспристрастием, вы скоро замечаете, что и он также руководился предубеждениями, как те, которых осуждает за пристрастный взгляд, что и он, подобно другим, — человек партии. О Шлоссере этого нельзя сказать. Он не хвалится беспристрастием, но действительно беспристрастен, насколько то возможно человеку; он не принадлежит ни к какой партии, — не потому, чтобы у него не было своего образа мыслей, очень точного и непреклонного, но потому, что его понятия о людях и событиях основаны не на личных желаниях и привязанностях, а на опыте долгой жизни, честно проведенной в искании добра и правды. Чтобы разделять этот взгляд, надобно отказаться от всех обольщений внешности, от всех прикрас идеализма, но сохранить молодое стремление ко всему истинно благотворному для людей, нужно холодную разборчивость старика соединять с благородством юноши. Таких людей не так много, чтобы они могли составить особую партию. Немногие достигают такой зоркости и беспристрастия; потому немногие могут во всем соглашаться с Шлоссером. Почти каждому из нас будут неприятны многие из его суждений; одному одни, другому другие; но в читателе, любящем чистую правду больше, нежели потворство своим предубеждениям, после каждого разногласия с Шлоссером останется впечатление: если мне

кажется, что он неправ, то едва ли это не кажется мне потому, что я не могу еще отказаться от приятного мне обождения.

Тацит как рассказчик гораздо выше Шлоссера; но в том, что составляет главнейшее достоинство Тацита, в строгом и совершенно здоровом понимании людей и жизни, из новых историков ближе всех подходит к Тациту Шлоссер.

Мы не говорим о других достоинствах автора «Истории XVIII столетия», о его громадной учености, о добросовестности, с которой пять раз проверяет он каждое свое слово, прежде чем напишет его, о том, как верно представляет он посредством краткого указания двумя-тремя словами связь и зависимость событий в своем, повидимому, бессвязном рассказе. Самое изложение Шлоссера, его небрежный и неправильный язык начинает нравиться, когда вчитаешься в него: он груб и небрежен, но эта грубость от силы, эта небрежность — от сознания своих внутренних достоинств; наконец находишь странную прелесть в этом прямодушном отвращении от наряда, в этой простой речи, которая ведется как будто среди домашнего бесцеремонного круга.

Теперь несколько слов о русском переводе, начало которого ныне издается.

Шлоссер груб и небрежен; этих качеств он не хочет скрывать в себе, и мы не считали нужным прятать их при переводе. Читатель найдет в переводе очень много фраз вовсе неизящных, иногда неловких; если они сохраняют Шлоссеру для русского читателя ту же физиономию, с какой хотел он являться запросто перед своими немцами, читатель одобрит нас за то, что мы шероховатую простоту речи не изменили приглаженностью, над которой так брюзгливо смеется автор.

У Шлоссера много выписок из французских, английских и других источников, особенно в примечаниях. Он эти выписки представляет в подлиннике, без перевода на немецкий язык. Так как наш перевод делается для обширной публики, не имеющей привычки к чтению на иностранных языках, то мы почли удобным для читателя переводить все эти выписки немецкие, французские, английские, латинские и итальянские на русский язык.

Часто Шлоссер ссылается на сочинения, которые легко доступны его немецкой публике, но которых не существует в русском переводе. Часто он упоминает о фактах, которые легко узнает немец из книг, находящихся у каждого под рукою в Германии, но о которых нечего прочесть на русском языке. К русскому переводу необходимо прибавить много выписок и примечаний, без которых мог обходиться немецкий автор. Надобно также сказать, что мы хотели бы дать читателю рассказ о главных фактах и важнейших деятелях XVIII века более подробный, нежели какой дается у Шлоссера. Если мы захотели помещать

эти дополнительные примечания при тех самых страницах перевода, к которым они относятся, этим чрезвычайно замедлилось бы печатание перевода; притом же примесь этих дополнений при чтении спутывала бы впечатление, производимое рассказом автора, с другими разнохарактерными мнениями. Эти соображения склонили нас к тому, чтобы наши дополнительные примечания печатать отдельно от текста. Из них составитя три или четыре тома, которые будут изданы по окончании перевода.